

МИЛА СЕВЕРИНА

ЛЕКАРКА
ГЕНЕРАЛА-ДРАКОНА.
ИСТИННАЯ
ИЗ-ЗА ГРАНИ



Мила Северина

**Лекарка генерала-дракона.
Истинная из-за Грани**

«Автор»

2026

Северина М.

Лекарка генерала-дракона. Истинная из-за Грани /
М. Северина — «Автор», 2026

Год назад хирург Анна Соколова умерла после суточного дежурства и очнулась в теле ненужной жены генерала-дракона. Теперь у неё есть своё имя, муж, который любит её саму, и двое детей под сердцем. И письмо, которое не должно было дойти: «Не приезжайте. Вас здесь ждут». На Сером острове, в залах без солнца, держат сотни людей из её мира. Раз в месяц корабль без огней увозит сорок из них в степь, к Чёрной Чаше, где мёртвое стекло глушит любую магию и любого дракона. А хан степи просит прислать «переплывшую лекарку»: его юная жена умирает родами. Откажешь — будет война. согласишься — поедешь туда, где зверь Рейнара замолчит, а граф Вейлс уже ждёт. Анна поедет. На шестом месяце. С двойней. Третья книга серии «Лекарка с того света». Истинная пара, беременная героиня, медицина вместо магии, степные интриги и счастливый финал.

© Северина М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Нижние залы	5
Глава 1. Двое под сердцем	12
Г	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Мила Северина

Лекарка генерала-дракона.

Истинная из-за Грани

Пролог. Нижние залы

На Сером острове не было птиц.

Эльрик Строг заметил это в первое же утро, шесть недель назад, когда лодка Магистерии ума ткнулась носом в каменную пристань и он поднял голову к скале. На побережье, в Сольвике, где он вырос, чайки кричали с рассвета до темноты. Дрались за рыбы головы, сидели на мачтах, гадили на сохнувшие сети. А здесь — тишина. Голые чёрные камни, серая трава, серое небо. И Обитель Тишины на вершине скалы, вросшая в неё, как старый зуб в десну.

Птицы облетали остров стороной. Он долго не понимал почему.

Потом понял. В первую же ночь, когда лёг в отведённой ему келье и попробовал, как делал каждый вечер последние двадцать лет, коснуться своего дара. Маленького, скромного дара дознавателя: чувствовать ложь в голосе, видеть второе отражение в Зерцале, слышать, как бьётся сердце в соседней комнате.

Дар молчал.

Строг провёл ладонью по стене кельи. Камень был холодный, шершавый. А в швах между камнями, под пальцами, — что-то гладкое. Скользкое. Он поднёс свечу.

Чёрные полосы. Тонкие, в мизинец толщиной. Вмазанные в раствор между камнями. По всей стене. По всем стенам.

Мёртвое стекло.

Обитель Тишины была построена на мёртвом стекле.

* * *

Шесть недель он был смотрителем Серого острова.

Так было написано в грамоте с королевской печатью и печатью Совета Крыльев. «Дознавателю Эльрику Строгу — смотреть за всем, что делается на острове. С правом знать всё». Настоятель Обители, магистр Ольм, прочитал грамоту дважды, медленно, шевеля пухлыми губами. Потом поднял на Строга круглые, добрые, водянистые глаза и улыбнулся.

— Разумеется, брат, — сказал он. — Смотрите. У нас нечего прятать. Мы служим Пламени и милосердию.

И Строг смотрел.

Он смотрел на двор Обители, где по утрам медленно ходили по кругу люди в серых балахонах с высокими воротниками. Сорок, пятьдесят человек. Мужчины, женщины. Ходили, опустив головы. Не разговаривали. Не смотрели друг на друга. Когда колокол звонил к обеду, они так же медленно шли к длинному столу и ели. Когда звонил ко сну — шли спать.

— Очищенные, — объяснил Ольм, стоя рядом с ним на галерее и сложив мягкие руки на животе. — Тела без чужих душ. Пустые сосуды. Мы кормим их, одеваем, бережём. Пламя велит беречь даже пустой сосуд.

Строг видел их пятнадцать лет назад. Когда привозил сюда приговорённых. Тогда он тоже смотрел на них с этой галереи и думал: пустые. Выжженные. И уезжал.

Теперь он смотрел дольше.

На третий день он заметил, что одна женщина во дворе, проходя мимо стены, каждый раз касается её пальцами. Одного и того же камня. Как будто считает круги.

Пустые сосуды не считают.

На пятый день он увидел, что у мальчика лет двенадцати — двенадцати! — из-под высокого серого воротника, когда тот наклонился за упавшей ложкой, мелькнуло чёрное. Блестящее. Гладкое. Обруч на шее.

На двенадцатый день он спросил Ольма, сколько всего очищенных живёт в Обители.

— Пятьдесят три, брат, — сказал Ольм. — Я вам показывал книгу.

Книгу Ольм показывал. Пятьдесят три имени.

Строг пятнадцать лет служил в Магистериуме. Он сам подписывал отчёты. Он знал, сколько приговоров к очищению выносит Магистериум за год. Пять. Шесть. В плохие годы — десять. За сто лет — больше пятисот.

Пятьдесят три.

Где остальные?

— Умирают, брат, — вздохнул Ольм. — Пустой сосуд недолговечен. Пламя забирает их. Мы хороним их на северном склоне. Хотите, покажу?

Северный склон Строг посмотрел сам. Ночью. С фонарём.

Там было двенадцать могил.

* * *

На сороковой день к нему пришёл брат Тит.

Тит был младшим из братьев Обители. Лет двадцати, тонкий, лопоухий, с вечно красными от холода руками. Он чистил очаги и носил воду. Строг замечал, как Тит смотрит на очищенных во дворе. Не так, как остальные братья. Не мимо. На них.

Тит постучал в келью за полночь. Стоял на пороге белый, мокрый, со свечой в трясущейся руке.

— Смотритель, — прошептал он. — Вы правда... вы правда от короля? С правом знать всё?

— Правда.

Тит сглотнул. Посмотрел через плечо в тёмный коридор.

— Тогда вам надо вниз, — сказал он. — Под часовню. Там дверь. За ковром с Пламенем. — Он помолчал. — Я ношу им воду. Три года. Я больше не могу, смотритель. Не могу.

* * *

За ковром с вышитым Пламенем была дверь. Низкая, окованная железом. Замок новый, смазанный. Тит снял с пояса ключ.

За дверью — ступени. Вниз. Каменные, стёртые посередине, будто по ним ходили веками. Пахло сыростью, холодом. И ещё чем-то.

Людьми.

Строг шёл первым, с фонарём. Тит — за ним. Ступени кончились. Начался коридор, вырубленный в скале. Потом — арка.

Строг поднял фонарь.

И остановился.

Зал был огромный. Он уходил в темноту дальше, чем доставал свет. Низкий потолок, подпертый каменными столбами. Вдоль стен, в несколько ярусов, — ниши. Глубокие, как полки в погребу. В нишах — солома.

На соломе — люди.

Десятки. Сотни. Строг не мог сосчитать. Свет фонаря выхватывал лица — одно, другое, третье. Мужчины. Женщины. Старики с белыми бородами до пояса. Девочка лет семи, свернувшаяся калачиком. Все в сером. Все — тихие.

Никто не поднял головы на свет. Никто не закрыл глаза рукой. Никто не спросил: кто там?

Они просто лежали. Сидели. Смотрели в камень.

И у каждого на шее — чёрный обруч.

— Сколько? — спросил Строг. Голос вышел хриплым.

— Триста двенадцать, — прошептал Тит. — Вчера было триста тринадцать. Старик из третьего зала... Утром не встал.

— Из третьего?

— Залов пять, смотритель.

Строг стоял в арке. Фонарь в руке. Пятнадцать лет. Пятнадцать лет он привозил сюда людей. И ни разу не спустился.

Он подошёл к ближней нише. Там сидел старик. Худой, с длинной седой бородой, в которой застряла солома. Глаза открыты. Пустые. Серые, как здешнее небо.

На шее — обруч. Гладкий, чёрный, толщиной в палец. Сзади — маленький железный замок.

— Ключ, — сказал Строг.

Тит не шевельнулся.

— Брат Тит. Ключ.

— Смотритель, если настоятель...

— Ключ.

Тит снял с пояса связку. Руки у него тряслись так, что связка звенела. Строг перебрал ключи. Маленький, плоский, с тремя зубцами. Вставил в замок.

Щёлкнуло.

Обруч распался на две половины. Строг снял его с шеи старика. Под обручем кожа была белая, натёртая, в старых рубцах.

Ничего не произошло.

Старик сидел, как сидел. Смотрел в камень.

Строг держал в руках две половинки чёрного стекла и чувствовал себя дураком. Чего он ждал? Чуда? Что пустой сосуд вдруг...

Старик моргнул.

Медленно. Как будто веки у него были очень тяжёлыми.

Моргнул ещё раз.

Потом поднял руку. Худую, с узловатыми пальцами. Поднёс к шее. Туда, где только что был обруч. Потрогал натёртую кожу. Долго трогал. Как будто не верил.

Повернул голову. Посмотрел на Строга. На фонарь.

Зрачки сузились от света.

И старик заговорил. Тихо, хрипло, будто голос у него заржавел. На языке, которого Строг никогда не слышал. Мягком, с длинными гласными. Он говорил и говорил, глядя Строгу в лицо, а по его щекам текли слёзы и пропадали в бороде.

Потом замолчал. Сглотнул. И сказал на языке Арвейна. С трудом. С чудовищным акцентом. Подбирая каждое слово, как подбирают камни на дне реки.

— Сколько... лет?

Строг не знал, что ответить.

Он не знал, сколько лет этот человек сидел здесь, в темноте, с куском мёртвого стекла на шее. Пять? Двадцать? Сорок?

— Не знаю, — сказал он честно.

Старик кивнул. Как будто так и думал. Закрыв лицо руками. И тихо, беззвучно заплакал, раскачиваясь взад-вперёд.

Строг стоял над ним с обручем в руках.

Пустой сосуд.

Пятнадцать лет.

* * *

Он снял ещё семь ошейников в ту ночь.

Женщина лет сорока с родинкой на щеке очнулась быстро и сразу закричала. Тит зажал ей рот, она укусила его за ладонь, а потом обмякла и долго смотрела на свои руки, поворачивая их так и эдак, как незнакомые вещи.

Мальчик двенадцати лет, тот самый, со двора, не очнулся вовсе. Только заплакал во сне, как маленький, и свернулся в клубок. Строг не решился оставить его без ошейника — надел обратно. Не знал, правильно ли. Ничего уже не знал.

Мужчина с седыми висками, очнувшись, первым делом спросил на ломаном арвейнском: «Где моя жена?» Строг не знал, где его жена. Мужчина кивнул и больше ничего не спрашивал.

Остальные — кто как. Кто-то плакал. Кто-то смеялся. Кто-то просто смотрел.

Тит ходил за Строгом с фонарём и молчал. Губы у него были искусаны в кровь.

* * *

В дальнем конце первого зала, у лестницы, ведущей ещё ниже, стоял железный ларь. Тяжёлый, на замке. Ключ к нему нашёлся в той же связке.

В ларе лежали книги. Толстые, в кожаных переплётках, одинаковые. Строг вынул верхнюю. Открыл.

«Восточная книга. Год сто второй».

Строки. Ровные, писарские.

«Месяц Ледостава. Отправлено на восток сорок. Мужчин — двадцать шесть. Женщин — четырнадцать. Крепкие. Корабль принят. Стекла получено — тридцать пудов».

«Месяц Солнцеворота. Отправлено на восток сорок...»

Строг листал. Месяц за месяцем. Сорок. Сорок. Тридцать восемь — «двое умерли до корабля». Сорок.

Он вынул следующую книгу. Год сто первый. Сто. Девяносто девятый.

Сорок в месяц. Каждый месяц. Сто лет.

Он сел на холодную ступень. Фонарь поставил рядом. Руки у него дрожали так, что строчки прыгали перед глазами.

Сорок в месяц. Четыреста восемьдесят в год. Сто лет.

Магистерииум выносил шесть приговоров в год.

Откуда?

А потом он понял. Медленно, тяжело, как понимают дурную весть, которую уже давно знали, но не пускали в голову. Подменышей приговаривали шесть в год — тех, на кого донесли, кого проверили Зерцалом в Лирне или в провинции, о ком был отчёт. А остальных... Остальных просто привозили. Без суда. Утопленников, которые очнулись «не такими». Лихорадочных, которые заговорили на чужом языке. Сирот. Бродяг. Безумных. Тех, о ком никто не спросит.

Сорок в месяц.

И — «стекла получено».

Он искал дальше. Не знал, что ищет. Знал. Год. Пятнадцать лет назад он привёз её сюда. Пять лет она прожила наверху, во дворе, — так сказал ему Ольм ещё в первую неделю: «Девочка из Сольвика? Да, помню. Тихая. Умерла от горячки лет десять тому».

Девяносто второй год. Месяц Летнего Пламени.

«Отправлено на восток сорок».

Он вёл пальцем по строкам. Здесь, в отличие от ранних книг, были имена. Не у всех. У некоторых.

Двенадцатая строка.

«Мира Строг, из Сольвика (тело). Душа — женщина в летах, речь чужая. Назвалась Вера. Крепкая. Знает камни. На восток».

Строг смотрел на эту строку очень долго.

«Знает камни».

Мира не знала камней. Мира знала крабов. Чаек. Сети. Синюю ленту. Мира боялась темноты и смеялась, когда он делал вид, что сердится.

«Умерла от горячки лет десять тому».

Он закрыл книгу. Медленно. Положил ладонь сверху.

Не умерла.

На восток.

* * *

— Смотритель. — Тит тронул его за плечо. — Смотритель, нам надо наверх. Скоро колокол к утренним чтениям. Брат Корвин спускается с водой до рассвета. Если он увидит...

Строг кивнул. Встал. Сунул книгу девяносто второго года под плащ.

— Брат Тит, — сказал он, пока они шли через зал к выходу, мимо ниш, мимо лиц. — Есть кто-то, кто понимает их языки? Хоть один?

— Нет, смотритель. — Тит покачал головой. — Их никто не слушает. Они же... они же молчат. В ошейниках.

— Без ошейников заговорят.

— И что мы с ними будем делать?

Строг остановился.

Что делать? Кормить. Лечить. Выводить на свет. Слушать. Он ничего этого не умел. Он умел испытывать Зерцалом и писать отчёты.

— Есть один человек, — сказал он вслух. Не Титу — себе. — В Лирне. Переплывшая. Как они. Её зовут Анна. Она лекарка. Она бы знала, что с ними делать.

Справа, из ниши, что-то зашуршало.

Строг обернулся.

Там сидела женщина. Одна из тех семерых, с кого он сегодня снял ошейник. Немолодая, лет пятидесяти пяти. Широкая в кости, с сильными квадратными ладонями. Волосы короткие, совсем седые, торчком, будто она сама их обстригала ножом. Когда он снял с неё обруч, она очнулась одной из первых. Посмотрела на свет. Сказала что-то на своём языке — коротко, сердито. И больше не говорила ничего.

А теперь она подалась вперёд. Глаза — тёмные, живые, острые — смотрели на него не мигая.

— Анна? — повторила она.

Хрипло. С акцентом. Но на языке Арвейна. Значит, она здесь давно. Очень давно. Выучила.

— Да, — сказал Строг.

— Лекарка?

— Да.

Женщина вдруг схватила его за руку. Пальцы у неё были железные. Строг почувствовал, что завтра на запястье будут синяки.

— Какая она? — Она говорила быстро, сбиваясь, путая слова. — Какая? Высокая? Тёмные волосы? Короткие? Она... режет? Хирург? Она говорит с... с... — Она замолчала, мучительно ища слово. Не нашла. Сказала на своём языке. Потом — снова на арвейнском: — Она говорит с ранами. Когда шьёт. Говорит им: «Вот ты где. Попался».

Строг смотрел на неё.

Он не знал, говорит ли леди Хальвард с ранами. Он видел только, как она шила ему лоб на ступенях Соляной палаты в ночь факелов. Быстро, ровно, при свете фонаря. И что-то тихо приговаривала. Он не разобрал что.

— Она светлая, — сказал он. — Тело светлое. Молодое. Ей двадцать один год. Это тело. А душа... Душе за тридцать. Она хирург. Она сама так говорит.

Женщина отпустила его руку. Откинулась назад, на солому. Закрыла глаза. Губы у неё шевелились.

— Фамилия, — сказала она, не открывая глаз. — Там. У нас. Как её фамилия?

— Не знаю.

Женщина помолчала.

— Если увидите её, — сказала она. — Если это она. Передайте доктору Соколовой. Свет дали. Мальчик выжил. — Она открыла глаза. — Она поймёт.

— Как вас зовут?

Женщина посмотрела на него. И вдруг улыбнулась. Криво, устало, одной стороной рта.

— Здесь — никак, — сказала она. — Двадцать лет никак, а то и больше. Там звали Людой.

* * *

Они почти дошли до арки, когда Тит вдруг остановился и вцепился Строгу в рукав.

Наверху, на ступенях, горел свет.

Не их фонарь. Другой. Тёплый, жёлтый. Он медленно спускался по лестнице, и вместе с ним спускались шаги. Неторопливые. Мягкие. Шаги человека, который никуда не спешит, потому что всё, что ему нужно, и так никуда не денется.

Тит тихо, тонко заскулил. Как щенок.

Свет вышел из-за поворота.

Магистр Ольм стоял на нижней ступени. В ночной рубаше, поверх которой был накинут серый плащ. С масляной лампой в пухлой руке. Круглое лицо улыбалось. Водянистые глаза смотрели на Строга, на Тита, на книгу, которая выпирала у Строга из-под плаща.

За спиной Ольма, на лестнице, стояли четверо братьев. Крепких. Тех, что носили воду и дрова. В руках у них ничего не было. Но Строг видел, как они стоят. Так стоят люди, которым скажут — и они сделают.

— Смотритель, — сказал Ольм ласково. — Брат Эльрик. Вы заблудились. Немудрено, ночью, в чужом доме. — Он посторонился на ступени. Совсем немного. Ровно настолько, чтобы мимо можно было пройти. По одному. — Пойдёмте. Я покажу вам дорогу наверх.

Строг стоял.

За его спиной в темноте нижнего зала триста двенадцать человек лежали на соломе. Семеро из них — без ошейников.

— Брат Тит пойдёт с нами, — сказал Строг.

— Разумеется, — улыбнулся Ольм. — Брат Тит пойдёт с нами. Мы все пойдём наверх. Утро вечера мудренее, смотритель. Утром поговорим. Обо всём. — Он помолчал. — У нас нечего прятать. Мы служим Пламени и милосердию.

Строг поднялся по ступеням. Мимо Ольма. Мимо четверых братьев. Тит шёл за ним, прижимаясь почти вплотную, и Строг слышал, как у мальчишки стучат зубы.

Наверху, за ковром с вышитым Пламенем, Ольм сам закрыл дверь. Повернул ключ. Положил ключ в карман.

— Спокойной ночи, смотритель, — сказал он.

Строг вернулся в келью. Сел на койку. Вынул из-под плаща книгу девяносто второго года. Положил на колени.

Книгу у него не отобрали.

Это было хуже всего.

Значит, Ольм не боялся, что он её прочтёт. Значит, Ольм уже решил, что Строг никому её не покажет.

Он долго сидел так. Потом зажёл свечу. Достал бумагу. Обмакнул перо.

«Леди Анна, — написал он. — Я обещал написать первым делом. Пишу. Они живые».

За стеной, в коридоре, кто-то стоял. Он слышал дыхание. Он слышал его даже без дара.

Он писал до рассвета. А потом ещё много ночей подряд, урывками, пряча листы под тюфяк. Письмо уйдёт с острова только через три недели — в сапоге рыбака, который возит в Обитель треску.

Следующие его письма будет читать не только леди Анна.

Глава 1. Двое под сердцем

— Тихо, — сказала Ясна. — Не дышите, миледи.

Я не дышала. Я лежала на кровати в нашей спальне, с задранной до груди рубашкой, и смотрела в потолок, а Ясна стояла надо мной, согнувшись, и прижимала к моему животу деревянную трубку.

Трубку сделал Борг. Я нарисовала ему её углём на доске ещё в начале лета: полая, длиной в ладонь, с широким раструбом с одного конца и плоским кружком с другого. В моём мире такую называют стетоскопом Пинара. Акушерки слушали через неё сердца нерождённых детей больше ста лет, пока не появились аппараты, которые пищат.

Здесь аппаратов не было. Здесь была Ясна с ухом на деревянном кружке и сосредоточенным лицом.

— Вот, — прошептала она. — Вот оно. Слева. Стучит. Быстро-быстро. Как воробей. Я выдохнула.

— Не дышите! — шикнула Ясна. — Я ещё не всё.

Я снова перестала дышать.

Ясна передвинула трубку. Ниже. Правее. Замерла. Передвинула ещё. Я смотрела на её лицо. На то, как сходятся к переносице тёмные брови. Как медленно, очень медленно, у неё раскрываются глаза.

— Миледи, — сказала она странным голосом. — Миледи, тут второе.

Я знала.

Я знала с Летнего Пламени, с того утра, когда Рейнар встал передо мной на колени и сказал, что зверь поёт троим. Я знала, потому что к пятому месяцу мой живот был такой, каким у нормальных женщин бывает к седьмому. Я хирург. Я умею считать.

Но одно дело — знать. И совсем другое — когда Ясна, двадцатилетняя повитуха, которую я полгода учила мыть руки, поднимает от трубки лицо, белое и счастливое, и говорит:

— Два. Два сердца, миледи. Разных. Одно быстрее.

Я закрыла глаза.

— Можно дышать? — спросила я.

— Можно, — сказала Ясна.

И я задышала. И заплакала. Опять. За этот год я выплакала больше, чем за все двадцать пять лет до него.

* * *

Двойня.

Я лежала потом одна, натянув рубашку, положив обе ладони на живот, и считала. Не могла не считать. Это сильнее меня.

Двойня — это риск преждевременных родов. Почти у половины. Двойня — это анемия, потому что двое тянут из матери всё. Двойня — это отёки, давление, преэклампсия, которую в моём мире ловили по анализам и аппаратам, а здесь не поймает ничем. Двойня — это второй ребёнок, который после первого может лечь как угодно. Поперёк. Ягодицами. Ногами. Двойня — это кровотечение после родов, потому что матка, растянутая за двоих, не хочет сокращаться.

В моём мире на такой случай есть операционная за стеной. Есть кесарево. Есть анестезиолог, который ругается, но делает. Есть кровь в банке.

Здесь есть я.

А я не могу прооперировать сама себя.

— Ты считаешь, — сказал Рейнар от двери.

Я открыла глаза. Он стоял, привалившись к косяку, огромный, в рабочей рубаше с закатанными рукавами, с пятнами смолы на руках. Строил что-то во дворе с Боргом. Он теперь

всё время что-то строил. Лестницу с перилами в нашу башню. Перила вдоль стены. Ещё одни перила. Ларс сказал, что к Солнцевороту Хальвард будет весь в перилах, как приют для немощных старух.

— Ясна сказала? — спросила я.

— Ясна сказала, что слышала два сердца, а потом заплакала и убежала к Ларсу. — Он подошёл. Сел на край кровати. Кровать застонала. — Зверь говорил тебе ещё летом.

— Зверь не повитуха.

— Зверь лучше повитухи. — Он положил ладонь мне на живот, поверх моих рук. Тёплую, тяжёлую. Всю ладонь, от запястья до кончиков пальцев. Живот под ней казался меньше. — Ты считаешь. Я вижу. У тебя между бровей вот такая складка, когда ты считаешь. Что ты считаешь, Анна?

Я хотела сказать: ничего. Хотела отшутиться. Мы оба знали, что так будет проще.

— Всё, что может пойти не так, — сказала я.

Он помолчал.

— Много?

— Много.

— Больше, чем после перевала? — Он чуть улыбнулся. — Когда ты вынимала из меня стекло щипчиками для бровей?

— Тогда я была снаружи, — сказала я. — А теперь я внутри.

Он не ответил. Только наклонился. И прижался лбом к моему животу. Осторожно. Как прижимаются к двери, за которой спят.

— Слушайте, — сказал он животу. Тихо, серьёзно. Тем голосом, которым говорил с Советом. — Это ваш отец. Вы меня ещё не знаете. Но я вас знаю. Вы мне снитесь. — Он помолчал. — Ведите себя хорошо. Не толкайтесь. Не ложитесь поперёк. Слушайтесь мать. Она страшнее меня.

Внутри толкнулось. Справа. Сильно, коротко. Как маленький кулак в дверь.

Рейнар поднял голову. Глаза у него были огромные.

— Это он мне ответил?

— Или она, — сказала я.

— Или она, — повторил он. И вдруг засмеялся. Тихо, беззвучно, плечами. И снова прижался лбом. — Хорошо. Пусть она. Пусть она мне отвечает. Только пусть не ложится поперёк.

Я гладила его по волосам. Чёрным, жёстким, с первыми серебряными нитками на висках, которых весной ещё не было.

И почти не считала.

* * *

К обеду я спустилась на кухню. По новой лестнице. Держась за новые перила. Рейнар шёл сзади, на две ступени ниже, растопырив руки, как будто я была стеклянным кувшином, а он ловил.

— Я хожу по лестницам тридцать четыре года, — сказала я через плечо.

— Двадцать два, — сказал Рейнар.

— Тридцать четыре. Я считаю свои.

— Тело — двадцать два.

— Тело ходило по лестницам двадцать два года и ни разу с них не упало.

— Оно ни разу не носило двоих.

Я остановилась. Повернулась. Он остановился тоже, на две ступени ниже, и наши лица оказались вровень.

— Рейнар Хальвард, — сказала я. — Если ты ещё раз пойдёшь за мной по лестнице с растопыренными руками, я рожу прямо здесь. Назло.

Он посмотрел на меня. Очень серьёзно.

— Здесь неудобно, — сказал он. — Ступени узкие. Иди уже. Я ловлю.

* * *

На кухне было жарко, как в бане, и пахло пирогами. Тильда стояла у печи, огромная, в белом фартуке до пят, и вынимала противни голыми руками. Я давно перестала ей говорить, что так нельзя. Тильда не обжигалась. Тильда была сильнее огня.

У стола сидели Ника и Тимоти. Над одной книгой. Ника водила пальцем по строчке и читала вслух, медленно, по слогам. Тимоти сидел рядом, подперев щеку, и поправлял. С видом страдающего учителя.

— «Дра-кон... взле-тел... над... го-ра-ми»...

— Над горами, — сказал Тим. — Не «го-ра-ми». Горами. Слитно. Это одно слово.

— Я и говорю одно, — огрызнулась Ника.

— Ты говоришь три.

— А ты на Угле до сих пор боком сидишь.

— Я не боком!

— Боком. Йорген сказал.

Тимоти покраснел до ушей. Ника перевернула страницу с победным видом.

Под столом, у ног Ники, лежал Бублик. Огромный, серый, похожий на брошенную шубу. Он лежал так с весны. Всё лето он ходил за Никой по пятам — на конюшню, на стену, в Брод на рынок, к реке. Спал на ней по ночам. Когда Ника уезжала с Тимоти кататься, Бублик садился у ворот и ждал. Тильда говорила, что кот её пасёт.

— Ника уезжает через неделю, — сказала Тильда, не оборачиваясь от печи. — Вы знаете, миледи, что он сделает, когда она уедет?

— Что?

— Залезет к ней в сумку, — сказала Тильда мрачно. — Как к Лиси весной. Я его знаю. Он предатель.

Бублик открыл один жёлтый глаз. Посмотрел на Тильду. Закрыл.

— Не залезет, — сказала я. — Мы будем проверять сумки.

— Он залезет в другую сумку, — сказала Тильда.

* * *

Ника пришла ко мне вечером.

Я сидела в кабинете Рейнара, в его большом кресле у окна, с ногами на скамеечке, — Ясна велела держать ноги повыше, — и разбирала письма. Ника постояла в дверях. Потом вошла. Села на ковёр у моих ног. Как села бы в Котловине на пороге.

— Миледи, — сказала она. — А можно я не поеду?

Я отложила письмо.

— Тебя мама ждёт.

— Я знаю. — Ника смотрела в пол. — Я её хочу видеть. Очень. Я ей писала. Сама. Тим проверял, там всего две ошибки было. — Она помолчала. — Но я хочу и тут. Я хочу учиться. У вас. У Ясны. Я в Броде роды видела, Марфа пустила. Я не испугалась. Почти. — Она подняла на меня глаза. Острые, серьёзные. — В Лирне я опять буду в Котловине.

— В Лирне ты будешь в Доме милосердия, — сказала я. — С мамой. С Тео. С Лиси... — Я осеклась. Лиси возвращалась с нами домой. — С Тео, — повторила я. — Тео будет тебя учить.

— Тео смешной.

— Тео очень хороший лекарь.

— Я знаю. Но он смешной. Он об косяки бьётся, когда леди Изольда входит.

Я засмеялась. Ника — нет.

— Миледи, — сказала она тихо. — А вы ведь после Лирны не домой полетите. Я слышала. Вы с милордом говорили. Вы на остров полетите. На Серый.

Я помолчала.

— Подслушивала?

— Я под столом сидела, — сказала Ника, как будто это всё объясняло. — Там тепло. Возьмите меня. Я пригожусь. Я везде пролезу. Я свистеть умею.

— Нет, Ника.

— Почему?

— Потому что я не знаю, что там, — сказала я честно. — А когда я не знаю, что там, я не беру туда детей.

Ника смотрела на меня долго. Потом кивнула. Не согласилась — просто приняла. Как принимают погоду.

— Тогда возвращайтесь, — сказала она. — Обе.

— Обе?

Ника показала подбородком на мой живот.

— Там девчонка, — сказала она уверенно. — Одна точно. Я знаю. Девчонки всегда сильнее толкаются.

* * *

Письмо от Изольды пришло на следующий день. С королевским гонцом, вместе с письмом короля к Рейнару. Король звал Рейнара на Совет в Лирну — по делам Восточной марки. Это мы ждали.

Изольдино письмо было толстым. Три листа, исписанных мелким, острым, наклонным почерком. Почерком человека, которого долго учили писать красиво, а потом он научился писать быстро.

«Леди Хальвард.

Деловое сначала. Дом милосердия в порядке. Больных сорок два, ни одного от корчи. Сестёр тридцать девять. Расходы за лето — в отчёте, приложен. Мыло — в пределах разумного. Целитель Вальм с этим не согласен.

Теперь не деловое.

Я всё лето читала книжку отца. Девятую. Ту, что взяли на суде. Король вернул её мне после суда — сказал, что это моё наследство. Смешно. Других у меня нет.

Я читала её не так, как читали на суде. На суде читали последние страницы. Я читала с начала. Книжка ведётся двенадцать лет. Отец пишет мало. Буквы, цифры, два-три слова. Почти всё я поняла. Кроме одного.

„О.“.

„О.“ встречается каждый месяц. Двенадцать лет. Без пропусков. Вот так:

„О. — восток, сорок — получено 200“.

И раз в полгода:

„О. — стекло, арсенал — дано 900“.

Каждый месяц — двести золотых. Сто сорок четыре раза. Двадцать восемь тысяч восемьсот. Это больше, чем горелое зерно. Это больше всего, что есть в книжке.

Я не понимала, что такое „восток, сорок“. Пока не нашла на одной странице, сбоку, мелко, его почерком: „остров — кор. в ночь на новолуние“.

Остров. Корабль. Новолуние.

„О.“ — это Обитель. Или настоятель Обители. Его зовут Ольм. Я узнавала.

Каждый месяц с Серого острова на восток уходят сорок. И отец получает за это двести золотых. И раз в полгода платит девятьсот за стекло, которое уходит в арсенал.

Я не знаю, что такое „сорок“. Сорок чего. Я думаю, что знаю. Я не хочу это писать.

От смотрителя Строга вам было письмо на Летнее Пламя? Мне Тео сказал, вы ему писали, что было. Больше не было? Мне кажется, вам стоит это знать.

Магистериум в конце лета выбрал нового Первого магистра. Гедона Варра. Старик. Тихий. Пахнет лавандой. У отца в книжке есть „Г. В.“ — трижды, двенадцать лет назад, — „дано 500“. Я не знаю, тот ли это Г. В. Я никогда ничего не знаю наверняка. Я только считаю.

Тео передаёт поклон. Тео просил написать, что он вам кланяется „низко и благодарно“. Я не стала. Это глупо звучит.

Лиси считает дни до вашего прилёта. Ника пусть привезёт свою кошку. Шучу. Кот ваш. Не привозите.

И. (урождённая В.)»

* * *

Я перечитала письмо три раза. Потом отдала Рейнару. Он читал стоя, у окна, и я видела, как каменеет его лицо. Как на скулах проступают желваки. Как в глазах разгорается золото — медленно, тяжело.

— Сорок, — сказал он наконец.

— Сорок, — сказала я.

— Каждый месяц.

— Двенадцать лет. Это то, что в книжке. А книжка девятая. Восемь он сжёг.

Рейнар молчал.

— Строг писал: их сотни, — сказала я. — В нижних залах. Сотни, Рейнар. А если сорок каждый месяц уходят — то сколько их было? Сколько их прошло через этот остров за сто лет?

— Строг больше не писал, — сказал Рейнар.

— Пять недель.

— Ты ему отвечала.

— Дважды. С гонцом Совета до Сольвика. Оттуда — рыбаки. — Я помолчала. — Ни ответа. Ни слова. Строг всегда отвечает, Рейнар. Даже когда отвечать нечего. Он пишет: «Получил. Строг». Два слова. Он такой.

Рейнар положил письмо на стол. Аккуратно, как кладут что-то, что может вспыхнуть.

— Через неделю летим в Лирну, — сказал он. — Отвезём Нику. Заберём Лиси. Я на Совет к королю. А потом...

— А потом на остров.

— А потом я на остров, — сказал он. — Ты останешься в Лирне. В Доме милосердия. С Тео, с Лиси, с Изольдой. Там стены, там стража, там...

— Рейнар.

— Анна, ты на пятом месяце. С двойней. Ты сама сказала: всё, что может пойти не так. Много. Больше, чем после перевала.

— Я сказала.

— Тогда...

— Ты тоже сказал, — перебила я. — На Летнее Пламя. У реки. Я сказала, что хочу на Серый остров. Я ждала, что ты скажешь: нельзя. А ты сказал...

Он закрыл глаза.

— «Летим вместе», — сказал он.

— «Летим вместе».

— Я тогда не знал, что их двое.

— Знал, — сказала я. — Зверь пел троим. Ты сам мне сказал в то же утро.

Рейнар открыл глаза. Посмотрел на меня. Долго. И я видела, как он борется. Как генерал Северной армии, который всю жизнь знал, что делать, — стоит у окна и не знает.

— Там люди, Рейнар, — сказала я тихо. — Такие, как я. Сотни. Без солнца. В ошейниках. Строг молчит пять недель. А я — лекарка. И я — такая, как они. Если не я, то кто?

Он долго молчал.

— Мы решим в Лирне, — сказал он наконец.

Это значило: да. Мы оба это знали.

* * *

Ночью я проснулась от того, что Рейнар сидел на кровати.

Не лежал. Сидел. Прямой, напряжённый, с поднятой головой. Как зверь, который услышал в лесу шорох.

— Что? — спросила я.

— Тихо.

Я прислушалась. Ничего. Ветер в бойницах. Река внизу, под скалой. Где-то во дворе — собака.

— Рейнар, что...

— Дракон, — сказал он. — Летит. С востока. Низко. — Он вдруг встал. Резко. — Он падает, Анна. Он падает.

Он был уже у двери, когда я услышала. Сначала далёкий звук. Не рёв — хрип. Как кашель огромных лёгких. Потом — хлопанье крыльев. Неровное, рваное, неправильное. Как будто одно крыло било, а другое не слушалось.

Потом удар.

Тяжёлый, глухой, такой, что дрогнули стёкла. Где-то за стеной, на Драконьей площадке у западной башни.

Затрубил рог.

Я натягивала платье, не попадая в рукава. Живот мешал. Я никогда не думала, что живот может мешать одеваться. Пять месяцев. Ещё четыре.

Когда я выбежала на стену — по ступеням, держась за перила, кляня перила и себя, — на Драконьей площадке уже горели факелы.

Там лежал дракон.

Золотой. Молодой, тонкий, длинношей. Он лежал на боку, раскинув крылья, и тяжело, со свистом, дышал. А в когтях у него — я видела в свете факелов — был человек. Завёрнутый в плащ. Неподвижный.

Золотой дракон разжал когти. Медленно. Очень бережно. Человек скатился на камни.

А потом свет. Золотой. И на площадке, на коленях, вместо дракона — юноша. Голый, худой, светловолосый. Весь мокрый от пота. Он поднял голову.

Бьярни. Младший из братьев Таль.

— Лекарку, — прохрипел он. Увидел меня на ступенях. — Миледи. Миледи...

Я уже шла. Быстро. Так быстро, как позволял живот.

Человек на камнях был рыжий. Веснушчатый. С лицом, белым, как мел. Хьяльмар. Его глаза были закрыты. Плащ на левом бедре промок насквозь — тёмным. А из бедра, сквозь мокрую ткань, торчал обломок стрелы.

Рейнар был уже рядом. На коленях. Он откинул плащ. И я увидела, как его рука замерла в воздухе. Не дотронулась. Отдёрнулась.

— Стекло, — сказал Рейнар. Глухо. — Я чувствую отсюда. Зверь... глохнет.

— Целители не видят, — выдохнул Бьярни. Он стоял на коленях, его трясло. Гуннара тут не было, плаща тоже, и Гримсон, подоспевший откуда-то сбоку, накинул на него свой. — Нигде. Никто. Только вы, миледи. Я летел два дня. Он... он не мог обернуться. Со стеклом. Я нёс. Два дня.

Я опустилась на колени рядом с Хьяльмаром. Тяжело. Живот упёрся в бёдра. Взяла его руку. Холодная. Пульс — частый, слабый, нитевидный. Но есть.

— Кто? — спросил Рейнар. — Где?

— Соляной тракт, — сказал Бьярни. — Восточная марка. Мы смотрели обозы. По слову короля. — Он сглотнул. — Там шли телеги. С востока. С чёрным стеклом. Много. И с запада —

на восток — шли люди. В цепях. Сорок. Мы считали. Хьяльмар спустился ниже. Посмотреть. Хотел видеть лица.

Он закрыл глаза.

— Их охраняли люди Борна, — сказал он. — Маркграфа. Они стреляли. Стеклом.

Хьяльмар вдруг пошевелился. Застонал. Открыл глаза. Мутные, невидящие. Посмотрел куда-то сквозь меня. Губы у него шевелились.

Я наклонилась.

— Они пели, — прошептал Хьяльмар. — В цепях. Пели. На чужом языке. Одна... одна женщина... пела...

Он закрыл глаза. И сквозь стиснутые зубы, хрипло, еле слышно, стал напевать мотив.

Пять нот. Шесть. Тихих. Медленных. Простых.

И меня как будто ударили в грудь.

Я знала эту песню. Я знала её раньше, чем знала своё имя. Мне её пела мама. В Сосновке. Зимой. Когда за окном мело, а печь трещала, и я засыпала под её руку на своей голове.

Колыбельную.

Хьяльмар замолчал. Голова его откинулась на камни.

Я сидела на коленях на Драконьей площадке Хальварда, в одном платье, на ночном ветру, с ладонью на холодном лбу рыжего дракона. И не могла дышать.

— Анна? — сказал Рейнар. — Анна, что?

— Они из моего мира, — сказала я. Голос был чужой. — Рейнар. Те, в цепях. Они из моего мира.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.